

Глава 6. УЗНИК ЕВРОПЕЙСКИХ МОНАРХОВ

11 мая 1849 года немецкие жандармы оповестили своих русских коллег об аресте опасного преступника. «В числе дрезденских мятежников, — говорилось в секретной депеше, — захваченных в Хемнице, привезен туда и Бакунин». В Петербурге ликовали. Там уже давно была назначена награда в 10 тысяч рублей за его поимку. История сохранила для потомков реакцию Николая I на полученное известие. «Наконец-то!» — изрек царь. Но радость оказалось несколько преждевременной. Вместо того чтобы незамедлительно этапировать преступника на родину, ему решили предъявить полный счет в Саксонии и Австрии. Накануне ареста Михаил успел уничтожить записную книжку с зашифрованными адресами и фамилиями. Но жандармам удалось заполучить множество других бумаг и документов, компрометиовавших пленника. С них-то и начались изнурительные допросы.

После временного содержания в дрезденской тюрьме и кавалерийских казармах арестанта перевели в казематы Кенигштейнской крепости, расположенной на высоком берегу Эльбы (где еще недавно скрывался от восставшего народа саксонский король). Протоколы допросов Бакунина сохранились и неоднократно публиковались. Они казенны и не блещут оригинальностью, как и любые другие плоды полицейского «творчества»:

<...> ВОПРОС № 3:

Политическая деятельность Бакунина была направлена главным образом против русского правительства.

ОТВЕТ:

Совершенно верно[13].

ВОПРОС № 4:

Поэтому Бакунин, так как он усмотрел в майской революции в Дрездене выступление против прусского влияния, а вместе с тем, ввиду влияния русской политики на Пруссию, и выступление против русского влияния, и так как эта революция показалась ему отвечающею его стремлению сломить или по крайней мере ослабить русское влияние на Германию, а сверх того многие его знакомые приняли участие в восстании, примкнул и действовал в инсurreкции (вооруженное восстание. — В. Д.), имевшей место в Дрездене в мае сего года.

ОТВЕТ:

Также верно.

ВОПРОС № 5:

Однако Бакунин отрицает, чтобы он подготовлял Дрезденское восстание или знал о его подготовке.

ОТВЕТ:

Это я определенно отрицаю.

<...>

ВОПРОС № 10:

Бакунин ведал пороховым погребом и занимался раздачей пороха и доставкой боеприпасов.

ОТВЕТ:

Верно.

ВОПРОС № 11:

Бакунин распоряжался посылкою подкреплений.

ОТВЕТ:

Не всегда, а именно только в отсутствие Гейнце.

ВОПРОС № 12:

Бакунин посещал баррикады и инструктировал их командиров относительно способов получения припасов из ратуши.

ОТВЕТ:

Один только раз.

<...>

ВОПРОС № 16:

Бакунин вместе с Борном составил не выполненный однако позже план собрать все силы и атаковать войска с двух сторон.

ОТВЕТ:

Я только разговаривал с Борном об этом плане, но сам я его не составлял.

ВОПРОС № 17:

Бакунин обсуждал с Борном план отступления инсургентов. ОТВЕТ:

Это правда.

ВОПРОС № 20:

Бакунин причастен к решению Гейбнера перенести восстание в Хемниц и с этою целью поехал также вместе с Гейбиером в Хемниц, но там был задержан.

ОТВЕТ:

Совершенно верно.

Крепкие запоры, глубокие подвалы и непрерывные допросы не исключали возможности чтения книг и занятия самообразованием. Единственное, что категорически запрещалось, — чтение газет. Пользуясь тюремными порядками, ' Бакунин набросился на книги о Великой французской революции и мировую беллетристику. Его одиночество в полутемной камере скрашивали Шекспир и Сервантес, учебник английского языка, литература по математике и

физике. Своему другу Адольфу Рейхелю он направил список из двенадцати названий с просьбой раздобыть и передать в тюрьму целую библиотеку фундаментальных трудов по математике, включая трехтомный трактат по дифференциальному и интегральному исчислению, алгебраическому и геометрическому анализу, классические работы Эйлера, Лагранжа, Монжа и др. В письме сестре Рейхеля — Матильде — Бакунин так описывает свой распорядок дня:

«Что касается моей здешней жизни, то она очень проста и может быть описана в немногих словах. <...> В семь часов утра я встаю и пью кофе; потом сажусь за стол и до двенадцати занимаюсь математикой. В двенадцать мне приносят еду; после обеда я бросаюсь в кровать и читаю Шекспира или же просматриваю какую-нибудь математическую книгу.

В два обычно за мною приходят на прогулку; тут на меня надевают цепь, вероятно для того, чтобы я не убежал, что, впрочем, и без того было бы невозможно, так как я гуляю между двумя штыками и бегство из крепости Кенигштейн кажется по крайней мере мне, невозможным. Может быть, это — тоже своего рода символ, чтобы напоминать мне в моем одиночестве о тех невидимых узах, которые связывают каждого индивидуума со всем человечеством. Как бы то ни было, но украшенный сим предметом роскоши я немного гуляю и издали любуюсь красотами Саксонской Швейцарии. Через полчаса я возвращаюсь, снимаю наряд и до шести часов вечера занимаюсь английским. В шесть я пью чай и опять принимаюсь за математику до половины десятого. Хотя у меня нет часов, но время я знаю довольно точно, так как башенные часы отбивают каждую четверть часа, а в половине десятого вечера слышится меланхолическая труба, пение которой, напоминающее горькую жалобу несчастного влюбленного, служит знаком того, что надо тушить свет и ложиться спать. Понятно, я не могу сразу заснуть и обычно не сплю за полночь. Это время идет [у меня] на всевозможные размышления, особенно о тех немногих любимых людях, дружбу которых я столь дорожу. Мысли беспощинны, не стеснены никакими крепостными стенами, и вот они бродят по всему свету, пока я не засыпаю. Каждый день повторяется та же история...»

Вместе с тем у Бакунина изменилось отношение к философии, слишком далекой, по его мнению, от реальной жизни и тех конкретных задач, которые ему приходилось решать во время бурных революционных событий. «Я теперь... <...> не жажду ничего иного, кроме положительного знания, — пишет он в письме от 9 декабря 1849 года все тому же Рейхелю, — которое помогло бы мне понять действительность и самому быть действительным человеком. Абстракции и призрачные хитросплетения, которыми всегда занимались метафизики и теологи, противны мне. Мне кажется, я не мог бы теперь открыть ни одной философской книги без чувства тошноты. <...>».

В Кенигштейне он познакомился с австрийским писателем Фердинандом Кюрнбергером (1821–1879), проходившим, как принято выражаться, по другому делу — участие в Венской революции. Он бежал после ее поражения в Дрезден, где и был арестован. Однажды им довелось иметь продолжительную беседу о судьбах революции в Европе, о чем Кюрнбергер оставил воспоминания: «Немецкие революции, до сих пор оканчивались неудачами потому, что четвертое сословие, единственный творческий фактор нашего общества, было соvrащено с пути истинного или предано третьим сословием, буржуазией и доктриной, —

был убежден Бакунин. Разошлись мы с ним только в выводах. Я в моем тогдашнем негодовании полагал, что немецкая цивилизация расслабляюще действует на людей, и желал для вашего гамлетовского народа немного той первобытной дикости, которая делает восточные народы, как, например, поляков и венгров, столь воинственными. Бакунин же стоял на противоположной точке зрения. Так как немец не обладает ни темпераментом западного романца, ни дикостью восточного славянина, то ему, чтобы развить в себе воинственность, не остается ничего иного как до крайних пределов развить ему свойственную доктринерскую особенность: воодушевление идеей. Эта доктрина должна проникнуть в самую глубину пролетариата, не изменяя его характера. Из такого союза силы и познания и должен явиться на свет тот вождь, которого до сих пор так не хватало немецким революционным битвам и который должен сочетать в себе дикий боевой клич пролетария с высоким полетом мыслителя: солдат и полководец в одном лице».

Оба арестанта сошлись на мысли, что европейская революция 1848–1849 годов потерпела поражение только потому, что ее не мог возглавить человек, в ком бы соединились активность и твердость воли с критическим пониманием истории и современности. Вождем революции мог бы стать только «величайший философ духа и подлиннейший пролетарий». По свидетельству другого немецкого заключенного революционера, Бакунин вообще считался в тюрьме самым опасным из всех арестантов, и ему даже приписывались «сверхчеловеческие силы». Несмотря на внешнюю неприступность крепости Кенигштейн, охрана симпатизировала узникам, некоторые из солдат выражали даже готовность освободить революционеров или помочь им бежать. Настроение гарнизона не было секретом для начальства, поэтому вскоре караул поголовно заменили более надежными стражниками.

14 января 1850 года саксонский суд вынес смертный приговор руководителям Дрезденского восстания — Бакунину, Гейбнеру и Рекелю. Все трое приговаривались к расстрелу. Такое решение по-своему даже удовлетворило Михаила: всё кончится в считанные мгновения и ему не придется остаток жизни проводить в каменном мешке («живой могиле», как он сам выражался) безо всякой надежды на освобождение. Он написал Матильде Рейхель: «<...>Итак, Вы уже знаете, что я приговорен к смерти. Теперь я должен сказать Вам в утешение, что меня уверили, будто приговор будет смягчен, то есть заменен пожизненной тюрьмой или столь же продолжительным заключением в крепости. Я говорю “Вам в утешение”, потому что для меня это — не утешение. Смерть была бы мне куда милее. Право, без фраз, положив руку на сердце, я в тысячу раз предпочитаю смерть. Каково всю жизнь прясть шерсть или сидеть в одиночестве, в бездействии, никому ненужным в крепости за решеткой, просыпаясь каждый день с сознанием, что ты заживо погребен и что впереди еще бесконечный ряд таких безотрадных дней! Напротив, смерть — только один неприятный момент, к тому же последний, момент, которого никому не избежать, наступает ли он с церемониями, с законными заклинаниями, трубами и литаврами, или захватывает человека неожиданно в постели. Для меня смерть была бы истинным освобождением. Уже много лет нет у меня большой охоты к жизни. Я жил из чувства долга, смерть же освобождает как от всякого долга, так и от ответственности. Я вправе желать смерти, так как ничья жизнь не связана неразрывно с моею...»

Друзья уже мысленно попрощались с приговоренным к смерти. Вагнер, сумевший выехать из Швейцарии во Францию, переправил Бакунину и другому осужденному — Рекелю — трогательное письмо: «Дорогие друзья! Пишу не затем, чтобы говорить слова утешения, так как знаю, что в утешении вы не нуждаетесь. До меня только что дошло известие, что король Саксонский утвердил смертный приговор над вами, — и я хочу доставить вам некоторую радость, хочу послать вам мой горячий братский привет. Но я далеко от вас. С отчаянием думаю о том, что эти строки, может быть, до вас не дойдут. Желаю только одного, чтобы они застали вас в живых.

Во сне и наяву — всегда вы были и оставались мне близки и дороги: в обаянии силы и страданий, достойные одновременно зависти и слез. Теперь пишу вам, готовым принять удар от руки того палача, за человеческое достоинство которого вы боролись. Братья, я хочу признаться в своем малодушии: из любви к вам я мечтал о том, чтобы вам даровали жизнь. Теперь я понял: величие и мощи вашей соответствует жестокий жребий, уготованный для вас врагами. Ваша сила и смелость принудили их решиться на самые отчаянные шаги. Этим они выдали свое преклонение перед вами. Вы вправе гордиться собой. Дорогие братья! Что казалось нам самым необходимым для того, чтобы люди могли переродиться в настоящих людей? Необходимо, чтобы нужда заставила их стать героями. И мы видим теперь перед собой двух таких героев, которые, влекомые святой потребностью любви к людям, поднялись до радости истинного мужества! Привет вам, дорогие! Вы показываете нам, чем могли бы быть мы все. Умрите с радостным чувством того значения, которое вы приобрели для нас.

Позвольте мне, вашему далекому другу, прибавить одну каплю сладости к той священной и торжественной чаше, которую вам предстоит испить. Хочу сообщить вам, что окруженный заботой, возвышенной дружбой и любовью, свободный и бодрый, взираю я теперь на будущее и, окрыленный новыми силами, работаю над тем же делом, за которое вы, герои, отдаете сейчас свою жизнь. Мой Михаил, мой Август! Милые, дорогие, незабвенные братья! Вы будете жить! Слух о вас все шире и шире распространится среди людей, и имена ваши станут символом любви и блаженства для будущего человечества. Примите же смерть, окруженные удивлением, поклонением и — любовью! Если суждено мне испытать невыразимое счастье получить от вас последний привет, — вы знаете, где найти меня... Только бы это письмо дошло до вас, ибо не сомневаюсь, что вы исполните мое горячее желание.

Итак, дорогие братья, обнимаю вас со всем жаром любящей души. Этим моим поцелуем и этой моей слезой приобщаюсь к тому величию, которым вы осенены сейчас в моих глазах! Радостно и гордо, как вы, хочу и я когда-нибудь отдать свою жизнь на алтарь нашей дружбы!»

Однако саксонские власти не спешили приводить приговор в исполнение. Приговоренному к смерти предложили составить прошение о помиловании, но Бакунин отказался это сделать. До самой смерти Бакунина сопровождала легенда: будто бы на предложение саксонских властей обратиться к королю с ходатайством о помиловании неслгибаемый узник ответил: «Предпочитаю быть расстрелянным!» В действительности же король попросту не решался утверждать смертную казнь руководителям Дрезденской революции, опасаясь возмущения

подданных. Поэтому после множества проволочек он принял решение заменить смертную казнь на пожизненное заключение и одновременно выдать Бакунина Австрии в связи с участием в Пражском восстании. В ночь с 12 на 13 июня арестант был разбужен и закован в кандалы. Он подумал, что пришло время казни, но его отвезли на границу и передали австрийским жандармам.

* * *

Бакунина доставили в Прагу, а спустя девять месяцев перевели в крепость Ольмюц (современный чешский город Оломоуц). Немецкие тюрьмы (саксонские — в особенности) в сравнении с австрийскими могли показаться санаторием. Русскому революционеру запретили переписку и любое другое общение с внешним миром, его поместили на нижнем полуподвальном этаже старинного замка, где круглосуточно у дверей камеры дежурил часовой. Всего же опасного узника, в коем следователи усматривали одну из ключевых фигур Пражского восстания и чуть ли не координатора всеевропейской революции, охраняло до двадцати человек. Относительно руководителей восстания из числа чешских патриотов следствие было в основном завершено.

От Бакунина ожидали подтверждения данных им прежде показаний, а также раскрытия конкретных деталей и имен. По поводу последнего пункта он сразу расставил все точки над /': «Я должен здесь заявить, что вдаваться в подробности относительно отдельных лиц совершенно противоречит моему принципу, однажды мною уже высказанному. Я допускаю, что многое стало известным благодаря показаниям лиц, допрошенных во время следствия. Если, например, братья Страки многое рассказали, то они и отвечают за содержание своих речей. Я же могу отвечать только на определенные вопросы, но отнюдь не на вопросы общего характера, ибо могло случиться, что то или иное обстоятельство, то или иное лицо вообще ускользнули от следствия, и ответами общего характера я рисковал бы кого-нибудь скомпрометировать». И еще: «Принципы вы мои знаете, я их не таил и высказывал громко; я желал единства демократизированной Германии, освобождения славян, разрушения всех насильственно сплоченных царств, прежде всего разрушения Австрийской империи; я взял с оружием в руках — довольно вам данных, чтобы судить меня. Больше же ни на какие вопросы я вам отвечать не стану». На вопрос следователя: «Каковы были ваши политические идеи, в частности по отношению Австрии?» — последовал ответ: «Мое личное убеждение, что австрийская монархия совершенно несовместима с понятием о свободе и может существовать лишь при помощи насилия».

В Ольмюце условия содержания узника оказались особенно тяжелыми — здесь Бакунина приковали железной цепью к стене, лишив прогулок и общения с посетителями. Австрийцы всерьез опасались попыток его насильственного освобождения. Им всюду мерещились закутанные в черные плащи карбонарии, прячущие под полами пистолеты и кинжалы. Наконец, тюремщики могли вздохнуть свободно: 15 мая 1851 года австрийским военным судом Бакунин был приговорен к смертной казни через повешение «за государственную измену по отношению к Австрийской империи».

Впрочем, власть предержавшие давно договорились о дальнейшей судьбе «опасного преступника». Молодой австрийский император, подобно своему саксонскому собрату, «великодушно» заменил смертную казнь на пожизненное заключение и с легким сердцем распорядился выдать узника другому своему собрату — русскому императору Николаю I, который за два года до этого помог Габсбургской династии подавить революцию в Венгрии, отправив на поддержку терпящих поражение австрийцев армию под командованием И. Ф. Паскевича. На границе австрийские жандармы потребовали возвращения казенного имущества, и европейские наручники заменили на русские кандалы. Впоследствии Бакунин поведал об этом эпизоде Герцену в присутствии Натальи Алексеевны Тучковой-Огаревой (1829–1913), записавшей рассказ и включившей его в свои мемуары:

«<...> Раз ночью он был пробужден непривычным шумом. Двери шумно отворялись и запирались, замки щелкали; наконец, шаги идущих приблизились, разные начальники вошли в тюрьму: смотритель тюрьмы, сторожа и какой-то офицер. Бакунину приказали одеваться. “Я ужасно обрадовался, — говорил Бакунин, — расстреливать ли ведут, в другую ли тюрьму переводят — все перемена, стало быть, все к лучшему. Меня повезли в закрытом экипаже на железную дорогу и посадили в закрытый вагон с крошечными окнами. Вагон этот, вероятно, переставляли, когда нужно было менять поезда, меня не выводили ни на одной станции.

Чтобы подышать свежим воздухом, я придумал просить поесть, но это не привело к желаемому результату, мне принесли поесть в вагон. Наконец, мы добрались до конечной цели нашего путешествия. Меня вывели скованного из темного вагона на ярко освещенный зимним солнцем дебаркадер. Окидывая беглым взглядом станцию, я увидел русских солдат, сердце мое радостно дрогнуло, и я понял, в чем дело.

Ну, поверишь ли, Герцен, — продолжал он, — я обрадовался, как дитя, хотя не мог ожидать ничего хорошего для себя. Повели меня в отдельную комнату, явился русский офицер, и началась сдача меня, как вещи; читали официальные бумаги на немецком языке. Австрийский офицер, жиденький, сухощавый, с холодными, безжизненными глазами, стал требовать, чтобы ему возвратили цепи, надетые на меня в Австрии. Русский офицер, очень молоденький, застенчивый, с добродушным выражением в лице, тотчас согласился на обмен цепей. Сняли австрийские кандалы и немедленно надели русские. Ах, друзья, родные цепи мне показались легче, я им радовался и весело улыбался молодому офицеру, русским солдатам. ‘Эх, ребята, — сказал я, — на свою сторону, знать, умирать’. Офицер возразил: ‘Не дозволяется говорить’. Солдаты молча с любопытством поглядывали на меня”»...

* * *

Через несколько дней арестант был доставлен в Петербург и заключен в Петропавловскую крепость, в сырую одиночную камеру Алексеевского рavelина. Он ждал каждодневных изнурительных допросов, но они почему-то не начинались. Впрочем, все необходимые формальности были соблюдены. А спустя два месяца к Бакунину прибыл шеф жандармов граф А. Ф. Орлов и объявил, что государь пожелал выслушать чистосердечные признания узника, и тот должен изложить их письменно как можно подробнее. Бакунин заколебался. С

одной стороны, он понимал, что царь и Третье (жандармское) отделение собственной его величества канцелярии желали бы получить от своего пленника как можно больше сведений о революционных настроениях в России и в Европе. С другой стороны, затеянная царем и его окружением игра предоставляла возможность не только добиться какого-то послабления, но и в определенной степени ввести в заблуждение дознавателей.

В конечном счете Бакунин согласился дать письменные показания — при условии, что писать станет только о себе, не ставя под удар других. Заключенному выдали пачку бумаги, перо и чернильницу, и он принялся писать самое длинное письмо в своей жизни, получившее название «Исповеди». Достоянием широкой общественности она стала только после Октябрьской революции, когда ученые получили доступ к архивам жандармского ведомства. До публикации же в открытой печати его успели прочесть чуть больше десяти человек, включая самого царя и наследника престола.

Об «Исповеди» написаны горы книг и статей. В чем только не обвиняли Бакунина — в предательстве революционных идеалов, лжи, трусости, верноподданнических чувствах и прочих смертных грехах. Особенно злорадствовали политические противники анархистов: «Поглядите, какой у них идейный вдохновитель — унизился перед самим царем». Однако никакого унижения и тем более предательства не было! Просто жестокие обстоятельства продиктовали такую тактику поведения. Бакунин, который всегда слыл «великим конспиратором», не был бы Бакуниным, если бы не попытался переиграть своих мучителей. А для этого любые средства хороши.

Уже на склоне лет он учил революционную молодежь: «<...> Революционер может и часто должен жить в обществе, притворяясь совсем не тем, что он есть. Революционер должен проникнуть всюду, во все низшие и средние сословия, в купеческую лавку, в церковь, в мир бюрократический, военный, в литературу, в III отделение и даже в Зимний дворец». Что же тогда говорить о поведении революционера, который оказался в логове своих врагов? Да у него просто нет иного выхода, как попытаться ввести их в заблуждение! Никакой тайны из своего поступка Бакунин тоже не делал. В письме от 8 декабря 1860 года, нелегально отправленном Герцену из Сибири, Бакунин откровенно рассказывает о своем «грехопадении»:

«В 1851 году в мае я был перевезен в Россию, прямо в Петропавловскую крепость, в Алексеевский рavelин, где я просидел 3 года. Месяца два по моему прибытию, явился ко мне граф Орлов от имени государя: “Государь прислал меня к вам и приказал вам сказать: скажи ему, чтоб он написал мне, как духовный сын пишет к духовному оцу. Хотите вы писать?” Я подумал немного и размыслил, что перед jurі [жюри, суд присяжных], при открытом судопроизводстве я должен бы был выдержать роль до конца, но что в четырех стенах, во власти медведя, я мог без стыда смягчить формы, и потому потребовал месяц времени, согласился и написал в самом деле род исповеди, нечто вроде *Dichtung und Wahrheit* [поэзия и вымысел]; действия мои были, впрочем, так открыты, что мне скрывать было нечего. Поблагодарив государя в приличных выражениях за снисходительное внимание, я прибавил: “Государь, вы хотите, чтоб я вам написал свою исповедь: хорошо, я напишу ее; но вам известно, что на духу никто не должен каяться в чужих грехах. После моего кораблекрушения у меня осталось только одно сокровище: честь и сознание, что я не

изменил никому из доверившихся мне, — и потому я никого называть не стану”. После этого, а quelques exceptions pres [за немногими изъятиями], я рассказал Николаю всю свою жизнь за границу, со всеми замыслами, впечатлениями и чувствами, причем не обошлось для него без многих поучительных замечаний насчет его внутренней и внешней политики. Письмо мое, рассчитанное, во-первых, на ясность моего, по-видимому безвыходного, положения, с другой же — на энергический нрав Николая, было написано очень твердо и смело и именно потому ему очень понравилось. За что я ему действительно благодарен, это [за то], что он по получении его ни о чем более меня не допрашивал».

Процитированному письму предшествовало другое, более обширное (на 20 листах) послание Бакунина к Герцену, до адресата не дошедшее. Надо полагать, оно также содержало откровенный рассказ об обстоятельствах написания «Исповеди». Однако ключевым в приведенном отрывке мне представляется словосочетание, написанное по-немецки — *Dichtung und Wahrheit*. Обычно оно переводится на русский как «Поэзия и правда» — именно так названы неоднократно издававшиеся в России беллетризированные мемуары Гёте. Разумеется, сам Гёте вкладывал в заголовок своих воспоминаний именно такой (и никакой другой) смысл. Однако в немецком языке слово *Dichtung* означает не одну только поэзию, но также «выдумку» и «вымысел», а словосочетание *Dichtung und Wahrheit* вообще представляет собой идиому (даже своего рода поговорку), которая переводится как «вымысел и правда». Именно такая лексическая модель и стала для Бакунина алгоритмом при написании его знаменитой «Исповеди» (кстати, этот заголовок письма царю вовсе не принадлежит автору, а был придуман первыми издателями рукописи, пролежавшей почти 70 лет в секретном архиве).

Заказчиков «Исповеди» написанный в течение месяца документ не привел в особый восторг. Граф Орлов, ознакомившись с «покаянием» Бакунина, сравнил его с показаниями Пестеля, удачно использовавшего предоставленную ему возможность не для раскаяния, а для пропаганды декабристских идей. Шеф жандармов попал в точку. Но письмо-исповедь Бакунина еще и поразительный человеческий документ: сквозь казенную словесную мишуру в нем явственно слышится, как бьется горячее (или, как в те времена говорили, ретивое) сердце. Работа над «Исповедью» позволила Михаилу мысленно как бы заново пережить все 37 лет своей скитальческой жизни. Перед его внутренним взором проплывали воспоминания детства, лица родителей, сестер, братьев, друзей.

Понятно, что царю была совершенно безразлична ностальгия узника Петропавловской крепости по безвозвратно утраченному прошлому. Поэтому Бакунин и начал сразу с более зрелых лет своего духовного становления, периода сомнений и исканий, что нередко приводило к «ложным понятиям», а объяснялось «сильной и никогда не удовлетворенной потребностью знания, жизни и действия». Философия, как мы знаем, — в особенности германская — была когда-то для него всё, в нее он погрузился целиком и полностью, доводя себя «почти до сумасшествия, и день и ночь ничего другого не видя, кроме категорий Гегеля».

Как много изменилось с той поры и сколь много пришлось переосмыслить! Нет, не любовь к свободе или стремление к переустройству общества были принесены в жертву! А вот от метафизических иллюзий он избавился, похоже, напрочь. Сама немецкая действительность,

столь отличная от русской жизни, привела к кардинальной «переоценке всех ценностей». В «Исповеди» об этом сказано так: «<...> Сама же Германия излечила меня от преобладавшей в ней философской болезни; познакомившись поближе с метафизическими вопросами, я довольно скоро убедился в ничтожности и суетности всякой метафизики: я искал в ней жизни, а в ней смерть и скука, искал дела, а в ней абсолютное безделье. Немало к сему открытию способствовало и личное знакомство с немецкими профессорами, ибо что может быть уже, жалче, смешнее немецкого профессора да и немецкого человека вообще! Кто узнает короче немецкую жизнь, тот не может любить немецкую науку; а немецкая философия есть чистое произведение немецкой жизни и занимает между действительными науками то же самое место, какое сами немцы занимают между живыми народами. Она мне наконец опротивела, я перестал ею заниматься. Таким образом излечившись от германской метафизики, я не излечился, однако, от жажды нового, от желания и надежды сыскать для себя в Западной Европе благодарный предмет для занятий и широкое поле для действия: ...я оставил философию и бросился в политику».

Политика — вот что больше всего интересовало императора и жандармов. Но здесь Бакунин переиграл Николая и его окружение: он ничего не сообщил нового о русских или польских «делах», да и ситуацию в европейском революционном движении осветил на уровне обычных газетных передовиц. О своем собственном житье-бытье написал откровенно и с искренней болью в душе. Заграничные воспоминания действительно оказались не из приятных: «<...> Жил в бедности, в болезненной борьбе с обстоятельствами и с своими внутренними, никогда неудовлетворенными потребностями жизни и действия, и не разделял с ними ни их увеселений, ни своих трудов и занятий. <...> Я жил большею частью дома, занимаясь отчасти переводами с немецкого для своего пропитания, отчасти же науками: историею, статистикою, политическою экономией, социально-экономическими системами, спекулятивною политикою, то есть политикою без всякого применения, а также несколько и математикою и естественными науками. <...>

Тяжело, очень тяжело мне было жить в Париже, Государь! Не столько по бедности, которую я переносил довольно равнодушно, как потому, что, пробудившись наконец от юношеского бреда и от юношеских фантастических ожиданий, я обрел себя вдруг на чужой стороне, в холодной нравственной атмосфере, без родных, без семейства, без круга действия, без дела и без всякой надежды на лучшую будущность. Оторвавшись от родины и заградив себе легкомысленно всякий путь к возвращению, я не умел сделаться ни немцем, ни французом; напротив, чем долее жил за границу, тем глубже чувствовал, что я — русский и что никогда не перестану быть русским. <...> Мне так бывало иногда тяжело, что не раз останавливался я вечером на мосту, по которому обыкновенно возвращался домой, спрашивая себя, не лучше ли я сделаю, если брошусь в Сену и потоплю в ней безрадостное и бесполезное существование?..»

И вот грянула февральская революция. События, очевидцем которых он стал, Бакунин описывает (и это в письме к царю!) с восторгом и талантом, достойным подлинного писателя: «Что ж скажу Вам, Государь, о впечатлении, произведенном на меня Парижем! (Туда Бакунин, как мы помним, прибыл спустя три дня из Брюсселя. — В. Д.) Этот огромный город, центр европейского просвещения, обратился вдруг в дикий Кавказ: на каждой улице, почти на каждом месте, баррикады, взгроможденные как горы и достигающие крыш, а на них

между каменьями и сломанною мебелью, как лезгинцы в ущельях, работники в своих живописных блузах, почерневшие от пороху и вооруженные с головы до ног; из окон выглядывали боязливо толстые лавочники, *épiciers* [лавочники] с поглупевшими от ужаса лицами; на улицах, на бульварах ни одного экипажа; исчезли все молодые и старые франты, все ненавистные львы с тросточками и лорнетами, а на место их мои благородные увриеры [рабочие], торжествующими, ликующими толпами, с красными знаменами, с патриотическими песнями, упивающиеся своею победою! И посреди этого безграничного раздолья, этого безумного упоения все были так незлобивы, сострадательны, человеколюбивы, честны, скромны, учтивы, любезны, остроумны, что только во Франции, да и во Франции только в одном Париже, можно увидеть подобную вещь! <...>».

О дальнейших событиях во Франции, Германии и Австрии Бакунин рассказывал иногда столь же живописно, иногда, наоборот, — сухо, с малосущественными деталями. Предварив свою подпись ходульным словосочетанием «кающийся грешник», узник Петропавловки обратился к императору с личной просьбой — позволить один раз (и, быть может, в последний) увидеться и проститься с семейством, если не со всем, то по крайней мере со старым отцом и матерью, а также с одной любимой сестрой, про которую, добавил Михаил, он даже не знает, жива она или нет. Под любимой сестрой он подразумевал незамужнюю Татьяну. Она действительно серьезно болела. В письмах своих Татьяна звала брата Мурушка, а он обращался к ней по-разному — «другиня моя», «малиновка голосистая», «крепостная» (имея в виду абсолютную привязанность)[14]. Однако с семьей у Михаила уже давно не было никакой связи. Император же, внимательно прочитавший «Исповедь» Бакунина, что называется, с карандашом в руках и сделавший на полях рукописи множество пометок, остался представленным документом не удовлетворен, но свидание с отцом и сестрой разрешил (в присутствии коменданта Петропавловской крепости генерала И. А. Набокова, бывшего, как ни странно, дальним родственником Бакуниных).

* * *

В Прямухине давно уже потеряли след Михаила и не имели о нем никакой информации. И вдруг в начале октября 1851 года Александр Михайлович Бакунин получил запечатанный сургучом пакет с письмом от графа Орлова, содержащим официальное уведомление, что сын его, отставной прапорщик Михаил Бакунин, находится в заключении в Петропавловской крепости и что с соизволения Государя императора отец может навестить арестанта в сопровождении дочери Татьяны. Весь бакунинский род пришел в ликование: как же, «краеугольный камень прямухинского дома» (так называли его промеж собой младшие братья) жив — и это главное! Все обиды, сомнения и недоразумения были моментально забыты. Первая же реакция самого Александра Михайловича была чисто русская, православная: на радостях он простил старшего сына за все существующие и несуществующие грехи и отслужил молебен во здравие его.

Бакунину-отцу шел уже семьдесят пятый год. Он совершенно ослеп, еле передвигался и предпринять поездку в северную столицу никак не мог[15] и поэтому выхлопотал замену: вместо него с сестрой Татьяной на свидание с Михаилом поехал сын Николай. Непродолжительная встреча после более чем десятилетней разлуки состоялась в кабинете

начальника Петропавловки под его личным надзором. Об этом свидании Татьяне и Николаю потом пришлось рассказывать родным и близким по многу раз. В письме к брату Алексею Татьяна сообщала:

«По возвращении в Прямухино у меня не было почти минуты свободной. Можешь себе представить, сколько раз пришлось мне пересказывать все подробности нашего пребывания в Петербурге — прежде отцу и маменьке, а потом всем другим. Каждый желал узнать обо всем, и первые дни я ничего почти не делала, как только все говорила то с одним, то с другим. <...>

Ночь. Оставила начатое письмо к тебе, милый друг, чтобы писать к брату Мише, — ведь нам не только позволено было с ним видаться, но и писать к нему и опять через несколько времени возвратиться для нового свидания. Можешь представить себе нашу горячую благодарность за такую великую, незаслуженную милость! Можешь представить себе, сколько счастья, сколько радости в сердце каждого из нас! Отец все простил Мише; и он, и Маменька говорят об нем с полною нежностью. Сейчас я отдала Маменьке мое письмо к нему, чтобы она за себя и отца прибавила несколько слов, благословила его, утешила его. Теперь это главное, на что обращены все мысли, все разговоры наши. Вместе мы благословляем и Бога и Государя. Одна общая мысль, одно общее чувство соединяет всех нас. И все мы как будто сильнее, горячее любим друг друга. Теперь у меня нет другой вести, другого рассказа для тебя...»

В другом письме — другие подробности о Михаиле: «Свидание с ним меня как будто переродило, и надежда, что вдруг осветила нашу жизнь, все исполнила, все проникла собою. <...> Мы вместе с Николаем уверяли его, что все счастливы, радостны, спокойны. Боже мой, да неужели же мы в самом деле не счастливы и не радостны теперь?» От Татьяны требовали большей конкретики. Павел просто обрушил на нее град вопросов: «Скажи, как и каким ты его видела? Поседел он? Опустился? Был он вам рад или нет? Что же, вы плакали, говорили или все смотрели? Да где же, в каком месте вы виделись? При ком? Николай был тут? Еще кто? В каком же виде был он? Как одет? Как вы встретились? Что сказали друг другу? Где взяли слова ваши? Мне все непонятно, все чуждо, и чувство ничего не угадывает, потому что перебито горем. Ты ведь о нем мне ничего не сказала. Очень он изменился? Узнал он вас? Вы его узнали? Назвал он вас по имени?» На все эти вопросы были даны своевременные ответы, но, к сожалению, в устной форме — в письменном же виде до нас они не дошли.

Вскоре Бакунину разрешили и переписку с семьей — со строгим наказом: писать кратко, в основном о здоровье и бытовых нуждах (одно письмо, написанное с обычном бакунинским размахом, попросту не было пропущено и осталось у тюремщиков). Письма тщательно прочитывались и анализировались в Третьем отделении, а читателем первого письма — к родителям, отправленного из Петропавловской крепости 4 января 1952 года, оказался сам царь. В нем Михаил писал: «<...> Благодарю вас, добрые родители, благодарю вас от глубины сердца за ваше прощение, за ваше родительское благословение, благодарю вас за то, что вы приняли меня, вашего блудного сына, что вы приняли меня вновь в свой семейный мир и в семейную дружбу. Свидание с Татьяною и с братом Николаем возвратило мне мир сердца и теплоту сердца; оно перестало быть равнодушным и тяжелым как камень, оно

ожило, и я не могу теперь жаловаться на свое положение; я теперь живу хоть и грустно, но [не] несчастливо; беспрестанно думаю о вас и радуюсь, зная, что в семействе нашем царствуют мир, любовь и счастье».

Ничего другого арестант сообщать не мог. Но опытный конспиратор Михаил Бакунин сумел перехитрить жандармов. Во время одного из очередных свиданий с Татьяной (тоже очень редких — раз в год-полтора) он незаметно от конвоиров передал ей три письма, написанных бисерным почерком на многократно сложенных листах тонкой бумаги. Брат и сестра рисковали невероятно. Оба прекрасно знали: если тайную передачу писем заметят и пресекут, узника навсегда лишат и права переписки, и дальнейших свиданий с родными. Но все обошлось благополучно. Переданные на волю письма красноречиво свидетельствовали, что дух Михаила не сломлен, а убеждения его ничуть не изменились. Вот что он писал: «Для меня остался один только интерес, один предмет поклонения и веры... и если я не могу жить для него, то я не хочу жить совсем». Все такими же оставались бакунинский оптимизм, свободомыслие и вера в жизнь:

«Никогда, мне кажется, у меня не было столько мыслей, никогда я не испытывал такой пламенной жажды движения и деятельности. Итак, я не совсем еще мертв; но та самая жизнь духа, которая, сосредоточившись в себе, сделалась более глубокою, пожалуй, более могущественною, более желающею проявить себя, — становится для меня неисчерпаемым источником страданий, которые я не пытаюсь даже описать. Вы никогда не поймете, что значит чувствовать себя погребенным заживо; говорить себе во всякую минуту дня и ночи: я — раб, я уничтожен, сделан бессильным к жизни; слышать даже в своей камере отголоски назревающей великой борьбы, в которой решатся самые важные мировые вопросы, — и быть вынужденным оставаться неподвижным и немым. Быть богатым мыслями, часть которых по крайней мере могла бы быть полезною — и не быть в состоянии осуществить ни одной; чувствовать любовь в сердце — да, любовь, несмотря на эту внешнюю окаменелость, — и не быть в состоянии излить ее на что-нибудь или на кого-нибудь. Наконец чувствовать себя полным самоотвержения, способным ко всяким жертвам и даже к героизму для служения тысячекрат святому делу — и видеть, как все эти порывы разбиваются о четыре голые стены, единственных моих свидетелей, единственных моих поверенных! Вот моя жизнь! <...>».

Разумеется, все знали: заключение Бакунина является пожизненным. О том, что это такое, Михаил позже напишет Герцену: «Страшная вещь пожизненное заключение. Влачить жизнь без цели, без надежды, без интереса. Каждый день говорить себе: “сегодня я поглупел, а завтра буду еще глупее”. Со страшною зубною болью, продолжающеюся по неделям и возвращающеюся, по крайней мере, по два раза в месяц, не спать ни дней, ни ночей; что бы ни делал, что бы ни читал, даже во время сна, чувствовать какое-то беспокойное ворочание в сердце и в печени, с вечным ощущением: я раб, я мертвец, я труп».

Один из самых верных соратников Бакунина Джеймс Гильом в опубликованной биографии приведет рассказ о его пребывании в тюрьме: дабы не сойти с ума от бездействия, безысходности и одиночества, Михаил принялся сочинять драму о Прометее с музыкальным сопровождением. Получалось нечто вроде оратории, и спустя много лет помнил и мог исполнить нежную и жалостливую мелодию хора нимф, которые обращаются к владыке

Олимпа Зевсу в надежде вымолить прощение Прометею. В легенде о нем сам узник угадывал свою собственную судьбу.

И все же надежда оставалась! Без нее вообще не стоило бы жить. И не исчезла все та же «одна, но пламенная страсть» — стремление к свободе (в широком, всеобщем и в узком, утилитарном смысле данного слова). Об этом он откровенно писал в процитированном выше письме, тайно переданном на волю: «Вы не знаете, насколько надежда стойка в сердце человека. Какая? — спросите вы меня. Надежда снова начать то, что привело меня сюда, только с большею мудростью и с большею предусмотрительностью, быть может, ибо тюрьма по крайней мере тем была хороша для меня, что дала мне досуг и привычку к размышлению. Она, так сказать, укрепила мой разум, но она нисколько не изменила моих прежних убеждений, напротив, она сделала их более пламенными, более решительными, более безусловными, чем прежде, и отныне все, что остается мне в жизни, сводится к одному слову: свобода» (выделено мной. — В. Д.).

Узнику Алексеевского рavelина (в пределах существовавших инструкций) помогали кто чем мог. От тюремщиков ему отпускалось на питание 18 копеек в сутки. Семья ежемесячно старалась присылать деньги (достаточно скромную сумму и не всегда регулярно) на повседневные нужды, табак и чай, к коему он давно пристрастился, а потом, уже во время второй европейской эмиграции, поглощал в невероятных количествах, вызывая удивление друзей и гостей. Изредка передавали апельсины и лимоны — как противоязвенное средство, цитрусовые помогали мало, и вскоре наступил неизбежный результат — зубы стали выпадать. Донимали и другие болезни, усугубляемые малоподвижным образом жизни.

С книгами особых проблем не было: частично их передавали с воли, частично он их оплачивал сам, включая журнальную периодику (например, журнал «Отечественные записки»), В жандармском «деле» фиксировался круг чтения государственного преступника: газета «Русский инвалид», старые номера журналов «Москвитянин» и «Библиотека для чтения», французские и немецкие романы, книги по математике, физике, геологии. Подбор литературы носил зачастую случайный характер. Так, мать переслала ему в Петропавловку русских классиков XVIII века из отцовской библиотеки — сочинения Кантемира, Хемницера и Хераскова, что, вполне естественно, не привело Михаила в восторг. Зато с большим удовольствием он смаковал многотомную «Историю Англии», принадлежащую перу известного философа и просветителя Давида Юма.

В 1853 году началась Крымская война. В условиях блокады Петербурга англо-французской эскадрой и постоянной угрозы высадки вражеского десанта Бакунина в марте 1854 года перевели из Петропавловской крепости в Шлиссельбургскую. Царь и охранка, видимо, не без оснований полагали, что враги могут попытаться освободить Бакунина и использовать его в своих политических целях. Поэтому в инструкции по содержанию государственного преступника он был поименован одним из важнейших арестантов. В отношении к нему требовалось соблюдать «всевозможнейшую осторожность, иметь за ним бдительнейшее и строжайшее наблюдение, содержать его совершенно отдельно, не допускать к нему никого из посторонних и удалять от него известия обо всем, что происходит вне его помещения, так, чтобы сама бытность его в замке (Шлиссельбургской крепости. — В. Д.) была сохраняема в величайшей тайне». Никто, кроме коменданта, не имел права знать, что за

узника доставили под покровом ночи в камеру № 7 с узким зарешетчатым окном, выходящим в глухой «малый двор», за которым начиналась глухая и неприступная крепостная стена. Сквозь оконную решетку из прутьев толщиной в полтора пальца видно было другое окно, выходящее в тот же двор сбоку. Около девяноста лет назад это была камера номинального российского императора Иоанна Антоновича, свергнутого Елизаветой Петровной (здесь же он и был убит при неудавшейся попытке освобождения).

Свидания с родными, в соответствии с полученной инструкцией, поначалу вообще запретили. На первых порах они даже не знали, куда Михаила перевели. Правда, «опасному арестанту» удалось выторговать некоторые поблажки: через жандармов по-прежнему передавались продукты и книги. Для текущих записей Бакунину выдали чернильницу, перо и тетрадь с пронумерованными листами, разрешили прогулки в тюремном дворе, а вот баню запретили, поскольку она находилась далеко от камеры. В качестве особой милости узнику перед обедом (в медицинских целях) разрешили выпивать рюмку водки, дабы у него окончательно не пропал аппетит от тюремной баланды.

Между тем родные не теряли надежды смягчить положение заключенного. Четыре брата Бакунина записались в ополчение, наивно полагая, что их патриотический поступок позволит облегчить его участь. Пятый брат — Александр — пошел добровольцем в действующую армию и всю крымскую кампанию провел в должности унтер-офицера в осажденном Севастополе, где он познакомился и подружился с молодым Львом Толстым (впоследствии, в 1881 году, тот даже гостил у Александра и Павла Бакуниных в Прямухине). Общий патриотический подъем в стране дал Варваре Александровне основание обратиться с прошением к самому царю: «Уже пятеро сыновей моих, верные долгу дворянства, вступили на военную службу на защиту отечества; благословив их на святое дело, я осталась одна без опоры, и могла бы, как милости, молить о возвращении мне шестого, но я молю, Ваше величество, о дозволении ему стать с братьями в передних рядах храброго вашего воинства и встретить там честную смерть или кровью заслужить право называться моим сыном. Ручаюсь всеми сыновьями моими, что, где бы он ни был поставлен волею Вашего величества, он везде исполнит долг свой до последней капли крови». Увы, прошение осталось без последствий. Царь не внял мольбе старой и несчастной матери...

Тяжелая война наконец-таки завершилась. Упования семьи оживились с новой силой — в особенности после смерти Николая I и вступления на престол Александра II. Однако будущий «царь-освободитель» также не страдал сентиментальностью, когда дело касалось врагов династии, и оказался таким же неумолимым, как его отец. Он даже запретил узнику разместить в камере токарный станок в качестве, как бы сегодня сказали, спортивного тренажера, ибо неподвижный образ жизни Бакунина в условиях замкнутого пространства отрицательно сказывался на состоянии его здоровья.

Тем не менее в окружении царя были люди, искренне сочувствовавшие Бакуниным. Именно они поспособствовали личной встрече Варвары Александровны с царем. Подробнейшую запись об этом свидании оставила в своем дневнике Анна Петровна Керн (1800-1879)[16]: «После 8-летнего заключения Михаила Бакунина... <...> мать, старуха лет около 70, приехала сюда (отец 90-летний умер, не дождавшись); ей сказали, чтобы она попробовала еще одно средство: встретиться с царем в Петергофском саду, попросить лично царя о

помиловании преступного сына. Она, бедная, это и исполнила. Подошла к нему с видом умоляющим и сказала, на вопрос его, кто она, что она мать кающегося сына и проч. и проч. Он остановился, вспомнил, о ком речь, скорчил, вероятно, николаевскую гримасу и сказал: “Перестаньте заблуждаться, ваш сын никогда не может быть прощен!” И только. Она как стояла, так и повалилась, как сноп, на стоящую тут скамейку. Удивляюсь, как ее, бедную, толстую тучную женщину, не пристукнуло тут же! Он постоял немножко, посмотрел на нее и — пошел дальше! А вы скажете: “Да как же это? Да ведь он прощен, то есть сослан”. Разумеется, что после Шлиссельбургской крепости позволение жить и служить даже в Омске или Томске, не знаю, — милость; да не в том сила, а вот в чем, что через несколько месяцев все это последующее совершилось; не знаю, как и откуда зашли, чтоб это устроить... Матери-то, надеющейся на милосердие, каково должны были прозвучать адские слова: “*Lasciate ogni speranza*” Дантовы [Оставь надежду всяк сюда входящий]».

В передаче Бакунина бессердечная фраза, брошенная по-французски царем Варваре Александровне, звучит еще жестче: «Сударыня, доколе сын Ваш будет в живых, он свободен не будет». Михаил был в полном отчаянии. Брату Николаю при свидании он сказал, что, если в его участи ничего не изменится, то он вынужден будет покончить жизнь самоубийством. Попросил раздобыть яду и тайно передать ему при следующем свидании. Иногда он воображал, что бы сказал царю, бывшему на четыре года младше его, доведись им встретиться с глазу на глаз...

Тем временем к хлопотам о судьбе узника подключилась вернувшаяся из действующей армии в Петербург героиня севастопольской обороны Екатерина Михайловна Бакунина (1811–1894)[17] — двоюродная сестра Михаила, ставшая настоятельницей Крестовоздвиженской благотворительной общины и находившаяся под личным покровительством Великой княгини Елены Павловны. Личное участие в борьбе за смягчение участи Бакунина приняли также Л. Н. Толстой и П. В. Анненков, чей брат был петербургским полицмейстером.

После многоходовых консультаций родилось решение: предоставить государственному преступнику выбор между продолжением пожизненного заключения в одиночной камере Шлиссельбургской крепости и ссылкой на вечное поселение (как тогда говорили) в Сибирь. Естественно, Михаил выбрал последнее и сам составил прошение к императору: «Государь! Одинокое заключение есть самое ужасное наказание; без надежды оно было бы хуже смерти: это — смерть при жизни, сознательное, медленное и ежедневно ощущаемое разрушение всех телесных, нравственных и умственных сил человека; чувствуешь, как каждый день более деревянеешь, дряхлеешь, глупеешь и сто раз в день призываешь смерть как спасение. Но это жестокое одиночество включает в себе хоть одну несомненную и великую пользу; оно ставит человека лицом к лицу с правдою и с самим собою. <...> Но мои физические силы далеко не соответствуют силе и свежести моих чувств и моих желаний: болезнь сделала меня никуда и ни на что негодным. Хотя я еще и не стар годами, будучи 44 лет, но последние годы заключения истощили весь жизненный запас мой, сокрушили во мне остаток молодости и здоровья: я должен считать себя стариком и чувствую, что жить мне остается недолго. Я не жалею о жизни, которая должна бы была протечь без деятельности и без пользы; только одно желание еще живо во мне: последний раз вздохнуть на свободе, взглянуть на светлое небо, на свежие луга, увидеть дом отца моего, поклониться его гробу

и, посвятив остаток дней сокрушающейся обо мне матери, приготовиться достойным образом к смерти».

Наконец, царь смилостивился — Бакунину разрешено было доживать свой век в Сибири. «Осчастливленный» узник выпросил также у жандармского начальства разрешение заехать на один день в Прямухино, чтобы поклониться могиле отца. В родовое гнездо пришлось добираться под конвоем — сначала в товарном вагоне до Осташкова, затем на почтовой телеге до утопавшего в снегу имения. Встреча с родными, состоявшаяся 10 марта 1857 года, оказалась тягостной для всех — каждый понимал, что скорее всего в последний раз видит любимого Мишеля, изменившегося за долгие годы тюремного заключения до неузнаваемости. За восемь лет, проведенных в немецких, австрийских и русских темницах, он невероятно растолстел (от болезней, разумеется, а не от калорийного питания), что в сочетании с и без того внушительным ростом делало его похожим на огромную глыбу.

Со слезами на глазах Михаил обошел комнаты прямухинского дома, где пролетело его детство, комнаты, видевшие друзей его отца — Львова, Державина, Капниста, декабристов Муравьевых, Лажечникова — и его собственных незабвенных друзей — Станкевича, Белинского, Боткина, Тургенева. По тропинке среди высоких, едва осевших под мартовским солнцем сугробов прошел к Троицкой церкви к усыпальнице отца, деда и двух сестер. Сохранился бесхитростный рассказ восьмилетней племянницы Михаила (дочери брата Николая), которую в честь бабушки и тети также называли Варварой. Свои воспоминания о кратком пребывании дяди Мишеля в Прямухине она позже записала в семейный литературный альбом. Из детской памяти не смог выветриться образ легендарного родственника — необычайно толстого и веселого человека, за ним дети ходили хвостом, боясь проронить хоть одно слово. А говорил он по-прежнему очень много, заразительно смеялся, шутил и пел со всеми разные песни. Поговорил Мишель по душам и с выросшей его нянюшкой Ульяной Андреевной.

Утром он попрощался с матерью, няней, дворовыми людьми и в сопровождении братьев, сестер и двух жандармских офицеров доехал до Зайкова, где жила сестра Александра со своим семейством. Здесь пролегла невидимая граница, отделявшая прошлое и настоящее от неизвестного будущего. Обняв провожавших у заповедной сосны и более не оглядываясь назад, Бакунин отправился навстречу новой жизни. Родного Прямухина и его окрестностей, с коим связано столько воспоминаний, — ему больше не суждено было увидеть никогда...

Версия #1

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ создал 30 июня 2025 19:07:39

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ обновил 30 июня 2025 19:09:46